

Мы с мамой живём в маленькой комнатке с маленьким окном, которое зимой обрастает наледью толщиной в два-три пальца. Она работает посменно на насосной станции за семьдесят рублей в месяц, что её тяготит и унижает, а я хожу в школу привычно и весело, потому что знаю только барачный быт, только сопки и купанье в ручье Безымянном, берущем начало в распадке, где даже в июле лежат двухметровые глыбы льда, изрезанные вдоль и поперёк тальми водами.

Мир зажат сопками. Одна — с покатым западным склоном — поросла стлаником и карликовыми берёзками. Здесь мы строим шалаши, воюем на палках, курим, потаясь, “Герцеговину Флор”. Папиросы манят названием, картонной коробкой с белоснежной мягкой проложкой внутри, а главное — форсом, когда можно с посвистом дунуть в длинный бумажный мундштук, смять его в три приёма и, клоня голову вправо, прикурить, смачно, по-взрослому, пуская дым то ртом, то сквозь ноздри. Приятель авторитетно наставляет, что “Герцеговина” даже слаще “Казбека”, а я лишь киваю, стараюсь в глаза ему не смотреть. Мне горько и тошно при каждой осторожной затяжке, и начинает душить кашель, но я терплю. Улыбаюсь сквозь слёзы.

Другая сопка, что позади посёлка, — крутая, вся в каменистых осыпях, осенью загорается от ярко-красной брусничной спелости. Мы рвём её здесь всей школой, всем посёлком, тарим в ведра и фанерные бочки из-под сухого молока, а она всё не кончается. Есть ещё одна приземистая сопка справа от ГОКа. Там, в дальнем, закрытом от ветров распадке, хорошая крупная

стланиковая шишка и бурая смородина. Туда нам ходить запрещают, а особенно лазить по старым шахтным выработкам и проходческим шурфам. Но мы лазим. Лазим по пугающе огромным этажам старого рудника, сложенного из огромных бетонных блоков зеками в сороковых. Здание в несколько этажей напоминает нам крепость, замок, дворец дракона, но никак не фабрику, где принимали, дробили, промывали руду и палили из карабинов по людям. Пополняли золотой запас страны.

Золото всюду. В разговорах отцов и матерей, в газетах, в глазах, в приговорах судов.

Первый раз я работал на золоте в начале шестидесятых. Мать взяли поваром в рудничную геологоразведку на весь сезон. Ей было тогда 46, а мне только девять. Но я большой парень, по общему мнению всех, кроме геолога, который любит поучать старателей, а особенно меня. Но я казак вольный. Я привязал к палке стальную вилку и бью ей, как острогой, вертлявых мелких усачей. Мечтаю взять хариуса, а он, похоже, в наш Безымянный ручей не заходит. Далеко не забегаяю. На мне вода и костёр. Большие серьёзные дядьки хвалят каждый раз вечером, когда черпают из бочки горячую воду для умывания, особенно бульдозерист Володька, улыбочивый, озорной парень с наколками на груди и руках. В его словах много мути, как в ручье после паводка: “Неси, Сашок, шлюмки. Развода сёдня не будет, бугром буду я”.

Ему не перечат. Изредка только инженер-геолог, да и то с опасливой выдержкой. Бульдозер тут всё: сердце, мускулы и бесконечный гул жизни, который разносится по огромной долине с редким лиственничным редколесьем, распутивая наглых медведей и прочую живность. “Росомаха весной двух собак порвала в клочья”, — вспоминает за ужином старатель Щебрин в пятый раз и смотрит на меня пристально. Пугает. А чё пугать-то? В больнице на Тракторном я сам мужика видел, которому косопальный скальп содрал в один мах. Слышал, как он жалился: “Руку вон перекусил, словно кость куриную”.

Мне бы ружьё! Как у геолога. Просил прошлый раз стрельнуть по банке, а он говорит: “Отдача большая”. Ружьё есть у Володьки. Висит прямо в кабине бульдозера. “Тулочка, — как он говорит. — Жаканом на шестьдесят шагов стальную бочку навывлет”. Но ему стрелять по банкам некогда. Даже в дни переездов, когда все отдыхают, разместясь в балке или на волокуше, он в кабине за рычагами своей “сотки”. Раз она как-то заглохла, старатели всполошились. Ходили кругами: “Ну, чего там, Володь? Может, помочь...” А он тёр ветошью промазученные ладони и страдал: “Пиндец, вам, мужики!”

— Походной колонной по двое разберись! Ты, Щебрин, за хохровца будешь. Веди на Транспортный. Тут недалече, пёхом двадцать пять верст.

И не понять было, всерьёз он это или в шутку. Даже ужинать не пришёл. Ночь июльская коротка, закат с восходом срастаются. Геолог сидит у костра. Переживает. Разведка разведкой, а план по золоту никто не отменял. “Хорошо шли, до ста граммов в сутки снимали, а теперь вот пиндец”.

Работа, как в старательской артели: вверху грохот — металлический ящик, внизу проходнушка — длинный деревянный ящик, вдоль него маты резиновые. Вечером съём, взвешивание, составление акта. Три подписи. И так шаг за шагом вдоль русла ручья, что впадает где-то там далеко за трассой Магадан—Сусуман в реку Омчук.

Однажды старатель Иван — молчаливый и страшный из-за своей густой бороды — дал мне в руки лоток с песком после съёма. “На-ка, пацан...” И я, подражая ему, стал осторожно крутить и вертеть в стоячей воде лоток-лодочку. А он, навалиясь сбоку, поправлял: “Шибче крути, шибче”. Геолог — начальник партии, совсем молодой и поэтому очень правильный, строгий, — укорил. Лоток с непромытым шлихом отобрал. Сломал песенку.

Мать в тот год хорошо заработала и впервые положила деньги на сберкнижку — на отпуск.

Полгода потом мы колесили по стране: Магадан—Уфа—Кисловодск—Ленинград—Магадан. “Надо же, почти тыщу профукали! — удивлялась уфимская бабушка. — Нам дом-то всего в девятьсот обошёлся”. А я радовался и пытался ей объяснить, что урюк — это абрикосы, которые растут на деревьях, про гору Машук и многое другое, что мне тогда казалось важным-пре-

важным. Она угощала малиновым вареньем и рассказывала, какие озорники Ванькины внуки. Медали дедовы в колодец бросают. Спрашивают: “Зачем? — Глубину измеряем”, — старшой говорит. “Младший рядом пыхтит. Бабкой-ёжкой меня обозвал...”

А мать восторженно всем рассказывала, что хуже кролика — всю зелень на огороде в июне поела. “И ботву, и укроп, и одуванчики... И в салате, и в супе ела и ела”.

Дед всё больше молчал. “Что, Надя, обратно на Колыму?” Спросил лишь однажды, словно можно было придумать что-то другое.

Рассказы про золото его не интересовали, на это он имел свои неоспоримые резоны, о них я в ту пору не знал, не подозревал. Это был семейный “скелет в шкафу”. Табу. Одно из доказательств мировой всеисильности золота, погубившего не только мою прабабку, отдельных людей, но целые государства, народы.

В тот год я копил на ружьё, потому что пацан на Колыме должен иметь хотя бы плохенькую одностволку шестнадцатого калибра с тугим спусковым курком. Я же грезил двустволкой. Меня научил сосед Петя, любивший под детярный чаёк рассказывать про охоту. И я ему верил, и пацанам пояснял, что в правом стволе всегда жакан на крупного зверя, а в левом — он кучнее бьёт — дробь по сезону. Осенью “нулевочка” — на утку, зимой тройка-четвёрка — на куропаток.

Копил я на завтраках, откладывая по пятнадцать-двадцать копеек, да и то не каждый день, потому что запах булки с повидлом, которую жуёт сосед по парте, забивает дыхание жаркой слюной. Миг — и ты неизвестно как почему-то стоишь перед буфетчицей, скаредно перебирая гривенники и пятакки. А она не торопит, ласково смотрит: “С чем?.. — И компот”, — говорю почти шёпотом, не в силах перебороть искушение.

К весне набралось шесть рублей. А надо было сорок три. Изредка выпадала удача, когда после получки приходил подвыпивший отчим, и мы с его дочерью Тонькой в потёмках шарили по карманам, сгребая всю мелочь. Бумажки не брали, такой был уговор. Зимой подарили три билета спортивной олимпийской лотереи. Я на стену повесил самодельный календарь и отмечал дни до начала розыгрыша. Я был уверен, что пусть не машину, но денежный приз выиграю непременно.

Мне было двенадцать, когда первый раз приятели позвали мыть золото. У нас было всё, как у взрослых больших мужиков. Совковые лопаты, аккумуляторный проходняк, грохот, вёдра и даже лоток. Мы сначала упирались, но рядом вдруг появлялся бурундук или кусок кварца, похожий на самородок, или пробивался по склону ручей и начинал падать водопадом на вскрытый бульдозерами склон сопки, завлекая брызгами, лучистой энергией солнца. Его требовалось срочно перегородить, затем поспорить задиристо, где лучше брать грунт. Мы прыгали с места на место, рыли в отвалах и под склоном сопки. Мы очень старались и на второй день, и на пятый, но бляшки золота почему-то плохо оседали в нашем лотке. Отец Кольки Ветрова доработал собранный шлик и сдал в золотоприёмную кассу. Вышло на девять рублей двадцать копеек. Три рубля он забрал себе — “на бутылку”, остальное отдал нам.

На следующий день приятели собрались на аммоналку, собирать обрезки бикфордова шнура, которые оставались там после взрывников. Занятие увлекательное, особенно если удастся срастить несколько кусков, а на конце приладить банку с глицериновой смесью... Но я не пошёл. Сидел на приёме, грел коленки. Подошёл Банщик — низкорослый, тщедушный дядька, носивший даже в летнюю пору ватный треух. Мы поздоровались. Точнее — я, а он лишь булькнул неразборчиво что-то. По субботам отчим водил в котельную помыться в душе, и Банщик, угрюмовато-печальный, каждый раз говорил: “Никола, побачь, шоб не дурыл хлопец”.

Одни говорили, что он кучером был у Бандеры в четырнадцать лет, другие — что возил только “матку Параску”, жену командира, но получил Банщик по полной — “двадцать пять и пять по рогам”.

— Ну и шо, трехи намыли?

Он, похоже, видел из окна в котельной, как мы таскались с инструментом. Я скривился, я даже ничего не ответил. И его предложение вместе мыть золото воспринял, как шутку. А он всё буровил на хохлякском своём языке, что знает “гарно место”.

Отчим похвалил. Мать сказала: “Никуда не пойдёшь!” Но я ушёл, потаясь, ранним утром, ушёл мыть золото с Банщиком в глухом месте, где мне грезился старательский фарт и самородок в полкулака.

Самородок был, но один, грязно-жёлтый, похожий на осу. Он попался в первый же день. Я понянчил его в ладони и отдал Банщику. У меня не было сил удивляться. Перед обедом я ещё бегал с ведром каменистого грунта, а к вечеру хотел упасть прямо на куст голубичника, не обращая внимания на назойливых комаров, и ругал Банщика, этого упрямого хохла, который всё валил и валил в железный ящик породу.

Через день, отдежурив в котельной, он снова тихонько постучал в маленькое оконце моей комнаты, переделанной отчимом из сарая-курытника. Мыли в прижиме у сопки, где легко устанавливать пробутор под проточную воду, стекавшую по склону из отогретой на солнце земли. В обед запаривали в котелке банку говяжьей тушёнки. Свиную Банщик не признавал. Варили чай с брусничным листом. Однажды он стал умываться и трех свалился с его головы: бугристые сизо-красные и белые шрамы чередовались с клочками чёрно-сивых волос. Он привычно напялил трех, глянул на меня вполглаза и ничего не сказал. А я ничего не спросил, перехотел. Я стал лениться. Самородков не попадалось. А мыть грунт, где на тонну всего-то семь граммов золота, было скучно и тяжело.

За ужином отчим невзначай бросил, что к Хвощёвым приходили с обыском мужики в штатском. “Даже половицы и плинтуса вскрыли”.

— Сосунок. Я с Нинкой, его матерью, говорила. Не мог он утаить столько золота, кто-то подбил, уговорил перевезти.

— Дудки! Сам. Уголовники самолётом не возят, там рентген. Они знают. Они возят из Нагаево пароходами. В порту слабее контроль.

— Что же теперь с Васечкой-то будет?

— Не скули. Знал, на что шёл. Теперь помажут лоб зелёнкой. Указ Верховного суда напечатают в “Магаданской правде”. А Нинку даже на похороны не позовут. Как пить дать — не позовут.

Мы с Тонькой молчали. Я пару раз заходил к Хвощёвым, когда мать посылала. Каждый раз тётя Нина угощала брусничным морсом. У неё он получался вкуснее мамино, и наливая она его из красивого стеклянного кувшина, приговаривая: “Пей, Сашечка, пей, сил набирайся”.

А Тоньке нравился Вася Хвощёв. Сама призналась. На моё: “Так он на десять лет старше!” — она ответила: “Дурак! Нравится — и всё”.

Старательские работы прервал пожар. Шёл он с запада, из Якутии. Гнал на нас дымное море, застилавшее солнце. Людей собирали по разнарядке со всех посёлков. Забрали одного из котельной, лишили Банщика отсыпного дня.

Банщик сам отмыл, отжарил-отпарил в кислоте добытый слух, довел до нужной кондиции (мне даже пестиком постучать не дал) и сдал в золотоприёмную кассу. В эту отдельно стоящую избушку возле техсклада, где постоянно дежурил вохровец в чёрной шерстяной форме с зелёными петлицами и погонами.

Вечером Банщик окликнул меня на улице, сунул в руку потный свёрток с деньгами — двенадцать рублей.

Я домой зайцем помчался. Вывалил на стол перед матерью, думал — обрадуется. А она заругалась, про “бандеровцев” вспомнила. И ещё всяко разное, как выкрикивали многие в колымских посёлках, считая себя лучше других. Оказывается, ей знакомая тётка — она дежурила на приёмке золота — рассказала, что Банщик сдал полсотни граммов и деньги получил полностью по тарифу — 96 копеек за грамм.

— Ещё раз уйдёшь с ним — выпорю!

Дым от пожаров рассеялся. Я подолгу сидел на сосновом чурбаке возле дома, ждал, что снова подойдёт Банщик, скажет простецки про фартовое место, где можно намывать не то что пятьдесят, а сто или двести граммов золота. И я снова поверю ему.